

Высшие законы

[209]

Возвращаясь в темноте домой со связкой рыбы и удочками, я увидел сурка, пересекавшего мне путь, и ощутил странную, свирепую радость — мне захотелось схватить его и съесть живьем; не то чтобы я был тогда голоден, но меня повлекло к тому первобытному, что в нем воплощалось. Правда, пока я жил на пруду, мне случилось раз или два рыскать по лесу, как голодной собаке, позабыв все на свете в поисках дичи, и никакая добыча не показалась бы мне чересчур дикой. Зрелище дикой природы стало удивительно привычным. Я ощущал и доныне ощущаю, как и большинство людей, стремление к высшей или, как ее называют, духовной жизни и одновременно тягу к первобытному, и я чту оба эти стремления. Я люблю дикое начало не менее чем нравственное. Мне до сих пор нравится рыбная ловля за присущий ей вольный дух приключений. Я люблю иногда грубо ухватиться за жизнь и прожить день, как животное. Быть может, рыболовству и охоте я обязан с ранней юности моим близким знакомством с Природой. Они приводят нас в такие места, с которыми в этом возрасте мы иначе не познакомились бы. Рыболовы, охотники, лесорубы и другие, проводящие жизнь в полях и лесах, где они как бы составляют часть Природы, лучше могут ее наблюдать, в перерывах между работой, чем философы или даже поэты, которые чего-то заранее ждут от нее. Им она не боится показываться. В прериях путник должен быть охотником, в верховьях Миссури и Колумбии — траппером, а у водопада Сент-Мери[210] — рыболовом. Кто остается только путешественником, узнает все из вторых рук и только наполовину, и на него полагаться нельзя. Особенно интересно бывает, когда наука подтверждает то, что эти люди уже знали практически или инстинктивно — ибо только человеческий опыт можно назвать подлинной *гуманитарной наукой*.

Ошибаются те, кто утверждает, будто у янки мало развлечений, потому что у него меньше праздников, и мужчины и мальчишки меньше играют в разные игры, чем в Англии; просто здесь игры еще не вытеснили более древних развлечений, которым предаются в одиночку: охоты, рыбной ловли и тому подобного. Почти все мои сверстники в Новой Англии в возрасте от 10 до 14 лет держали в руках охотничье ружье, и места для охоты и рыбной ловли не были у них ограничены, как заповедники английских помещиков; они были обширнее, чем даже у дикарей. Неудивительно, что они редко выходили играть на деревенскую лужайку. Впрочем, в этом уже замечается перемена и не потому, что увеличилось население, а потому, что все меньше становится дичи; ведь охотник — лучший друг дичи, чем даже член Общества охраны животных.

К тому же, живя на пруду, я иногда добывал рыбу, чтобы разнообразить свой стол. Я удил из той же потребности, что и первые рыболовы на земле. Доводы гуманности, какие можно было бы привести, казались искусственными и касались больше моей философии, чем чувств. Я говорю сейчас только о рыбной ловле, потому что об охоте давно уже имею другое мнение и продал свое ружье раньше, чем поселился в лесу. Не то чтобы я был менее

человечен, чем другие; просто чувства мои не были задеты. Я не испытывал жалости к рыбам и червям. Это вошло в привычку. Что касается охоты, то под конец оправданием для нее стали мои занятия орнитологией, и я якобы выискивал только новых и редких птиц. Но сейчас, должен признаться, я считаю, что есть лучший способ изучения орнитологии. Он требует настолько пристального внимания к повадкам птиц, что уж по одной этой причине я готов обходиться без ружья. И все же, несмотря на соображения гуманности, я не знаю, какой равноценный спорт можно предложить взамен; и когда мои друзья с тревогой спрашивают меня, разрешать ли сыновьям охоту, я отвечаю, вспоминая, какую важную роль она сыграла в моем собственном воспитании; да, делайте из них охотников, сначала хотя бы ради спорта, а потом, если возможно, пусть они будут могучими охотниками, для которых ни здесь, ни в других заповедниках не найдется достаточно крупной дичи, — пусть будут ловцами человеческих душ. Я разделяю мнение чосеровой монахини, недовольной уставом:

...устарел суровый сей устав:

Охоту запрещает он к чему-то

И поучает нас не в меру круто[211]

В жизни отдельного человека, как и человечества, бывает время, когда охотники — это «лучшие люди», как они называются у племени алгонквинов[212]. Можно только пожалеть мальчика, которому ни разу не пришлось выстрелить; он не стал от этого человечнее; это просто важный пробел в его образовании. Так я отвечал, когда видел, что у юноши есть склонность к охоте, надеясь, что с возрастом она пройдет сама собой. Ни один гуманный человек, вышедший из бездумного мальчишеского возраста, не станет напрасно убивать живое существо, которому дарована та же жизнь, что и ему самому. Затравленный заяц кричит, как ребенок. Предупреждаю вас, матери, что я в своих симпатиях не всегда соблюдаю обычное *филантропическое* различие.

Таково чаще всего первое знакомство юноши с лесом и с основой собственной личности. Он идет в лес сперва как охотник и рыболов, а уж потом, если он носит в себе семена лучшей жизни, он находит свое призвание поэта или естествоиспытателя и расстаётся с ружьем и удочкой. Большинство людей в этом отношении так и не выходит из детского возраста. В некоторых странах не редкость встретить пастора-охотника. Из такого вышел бы добрый пастуший пес, но едва ли выйдет Добрый пастырь[213]. Я с удивлением убедился, что, кроме рубки леса или льда и тому подобного, единственным занятием, привлекавшим моих сограждан на Уолден, будь то отцы или дети, была рыбная ловля — за одним-единственным исключением. Обычно, если они не добывали целой связки рыбы, они не считали день удачным, хотя все это время могли любоваться прудом. Иные могли побывать на нем тысячу раз, пока жадность к рыбе не оседала, так сказать, на дно, и побуждения их не становились чистыми; но этот процесс очищения, несомненно, происходил все время. Губернатор и его совет смутно помнят пруд, потому что мальчиками удили там рыбу, но сейчас они слишком стары и важны для такого занятия, и пруд им больше не знаком. Однако даже они надеются в конце концов попасть на небо. Законодатели интересуются прудом только, чтобы решать, сколько рыболовных крючков там дозволить, но ничего не знают о том главном крючке, на который можно было бы поймать самый пруд, насадив вместо наживки законодателей. Так, даже в цивилизованных обществах человеческий эмбрион проходит охотничью стадию развития.

В последние годы я не раз обнаруживал, что ужение рыбы несколько роняет меня в собственных глазах. Я брался за него много раз. У меня есть умение и, как у многих моих собратьев, некоторое чутье, которое время от времени обостряется, и все же всякий раз после этого я чувствую, что лучше было бы не удить. Мне кажется, это верное чувство. Оно смутно, но таковы первые проблески утренней зари. Во мне, несомненно, живет инстинкт, свойственный низшим животным, но с каждым годом я все менее чувствую себя рыболовом, хотя и не делаюсь от этого ни гуманнее, ни даже мудрее; сейчас я совсем не рыболов. Но я знаю, что, если бы мне пришлось жить в глуши, меня снова сильно потянуло бы к рыбной ловле и охоте. Во всякой животной пище есть нечто крайне нечистое, и я стал понимать, что такое домашняя работа и откуда берется стремление, стоящее стольких трудов, постоянно содержать себя в чистоте и не допускать в доме неприятных запахов и зрелищ. Я был не только джентльменом, которому подаются блюда, но и сам себе мясником, судомойкой и поваром, поэтому я говорю на основании весьма разностороннего опыта. Главным моим возражением против животной пищи была именно нечистота; к тому же, поймав, вычистив, приготовив и съев рыбу, я не чувствовал подлинного насыщения. Она казалась ничтожной, ненужной и не стоящей стольких трудов. Ее вполне можно было бы заменить куском хлеба или несколькими картофелинами, а грязи и хлопот было бы меньше. Как и многие мои современники, я иногда годами почти не употреблял животной пищи, чаю, кофе и т. п. — не столько из-за вредных последствий, сколько потому, что они мало меня привлекали. Отвращение к животной пище не является результатом опыта, а скорее инстинктом. Мне казалось прекраснее вести суровую жизнь, и хотя я по-настоящему не испытал ее, я заходил достаточно далеко, чтобы удовлетворить свое воображение. Мне кажется, что всякий, кто старается сохранить в себе духовные силы или поэтическое чувство, склонен воздерживаться от животной пищи и вообще есть поменьше. Энтомологи отмечают знаменательный факт — я прочел об этом у Керби и Спенса:[214] «некоторые насекомые, достигшие полного развития, хотя и снабжены органами питания, но не пользуются ими»; авторы выводят как «общий закон, что почти все насекомые, достигшие зрелости, едят гораздо меньше, чем их личинки. Прожорливая гусеница, ставшая бабочкой», и «жадная личинка, превратившаяся в муху», довольствуются каплей меда или иной сладкой жидкости. Напоминанием о личинке остается брюшко, расположенное под крыльями бабочки. Это — тот лакомый кусочек, которым она испытывает свою насекомоядную судьбу. Обжоры — это люди в стадии личинок; в этой стадии находятся целые народы, народы без воображения и фантазии, которых выдает их толстое брюхо.

Трудно придумать и приготовить такую простую и чистую пищу, которая не оскорбляла бы нашего воображения; но я полагаю, что его следует питать одновременно с телом; обоим надо сажать за один стол. Быть может, это и возможно. Если питаться фруктами в умеренном количестве, нам не придется стыдиться своего аппетита или прерывать ради еды более важные занятия. Но достаточно добавить что-то лишнее к нашему столу, и обед становится отравой. Право же, не стоит питаться обильной и жирной пищей. Большинство людей постеснялось бы своими руками приготовить тот обед, какой ежедневно готовят для них другие, будь то животная пища или растительная. Пока это так, мы не можем считать себя цивилизованными; пусть мы леди и джентльмены, но мы недостойны называться истинными людьми. Что тут надо изменить — всем ясно. Не к чему спрашивать, почему мясо и жир вызывают у нас отвращение. Достаточно того, что оно так. Разве это к чести человека, что он — хищное животное? Правда, он может жить, да и живет, в

значительной мере охотой на других животных; но это — жалкая жизнь; в этом можно убедиться, стоит поставить силки на кроликов или забить ягненка; и тот, кто научит человека довольствоваться более невинной и здоровой пищей, может считаться благодетелем человечества. Что бы я ни ел сам, я не сомневаюсь, что человечеству суждено, при его дальнейшем совершенствовании, отказаться от животной пищи, как дикие племена отказались от людоедства, соприкоснувшись с племенами более цивилизованными.

Если повиноваться чуть слышному, но неумолчному правдивому голосу нашего духа, неизвестно к каким крайностям или даже безумствам это может привести; и все же именно этим путем надо идти, но только набравшись решимости и стойкости. Ощущения одного здорового человека в конце концов возьмут верх над доводами и обычаями человечества. Никто еще не следовал внушениям своего внутреннего голоса настолько, чтобы заблудиться. Пусть даже результатом будет ослабление тела, сожалеть об этом нечего, потому что такая жизнь находится в согласии с высшими принципами. Если день и ночь таковы, что ты с радостью их встречаешь, если жизнь благоухает подобно цветам и душистым травам, если она стала радостнее, ближе к звездам и бессмертию, — в этом твоя победа. Тебя поздравляет вся природа, и ты можешь благословлять судьбу. Величайшие достижения обычно ценятся всего меньше. Мы легко начинаем сомневаться в их существовании. Мы скоро о них забываем. Между тем они-то и есть высочайшая реальность. Может быть, человек никогда не сообщает человеку самых поразительных и самых реальных фактов. Истинная жатва каждого моего дня столь же неуловима и неопишуема, как краски утренней и вечерней зари. Это — горсть звездной пыли, кусочек радуги, который мне удалось схватить.

Впрочем, сам я никогда не был чрезмерно брезглив. Иной раз, если нужно, я мог с аппетитом съесть жареную крысу. Я рад, что до сих пор пил одну лишь воду, по той же причине, по какой предпочитаю настоящее небо искусственному раю курильщика опиума. Я хотел бы всегда быть трезвым, а степеней опьянения бесконечно много. Я убежден, что единственным напитком мудреца должна быть вода, вино — куда менее благородная жидкость; а можно ведь утопить все утренние надежды в чашке кофе или вечерние — в стакане чая. Как низко я падаю, когда прельщаюсь ими! Опьянять может даже музыка. Эти, по-видимости пустяшные, причины погубили Грецию и Рим и погубят Англию и Америку. Если уж опьяняться, то лучше всего воздухом. Главным моим возражением против длительной грубой работы было то, что она вынуждала меня к грубой пище. Но сейчас, по правде говоря, я стал менее чувствителен к этим вещам. Я не молюсь за столом и не испрашиваю благословения на свою трапезу, — не потому, что стал мудрее, а потому что с годами, как это ни прискорбно, стал более безразличным и толстокожим. Быть может, только юность терзается этими вопросами, как, по мнению многих, только ей свойственно увлечение поэзией. Но дело не в моей практике, а в убеждениях, а их я изложил. Однако я далеко не склонен причислять себя к тем избранным, о которых говорится в Ведах: «Имеющий истинную веру в Вездесущее Верховное Существо может употреблять в пищу все»[215], иначе говоря, он не должен заботиться о том, какова его пища и кто ее приготовил; но даже и для них, как замечает один из индусских комментаторов, Веда допускают такое преимущество только «в голодный год».

Кому не случалось порой получать от своей пищи несказанное удовлетворение, не зависевшее от аппетита? Мне радостно было сознавать, что я обязан духовными озарениями такому низменному чувству, как вкус, что я мог вдохновляться через его посредство, что моя муза питалась ягодами, собранными на холме. «Когда душа не властна над собой, — говорит Цзэн Цзы, — мы смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим, едим и не ощущаем вкуса пищи»[216]. Кто различает истинный вкус своей пищи, не может быть обжорой; а кто не различает, того не назовешь иначе. Пуританин может съесть корку черного хлеба с той же жадностью, что олдермен — свой черепаховый суп. Не то, что входит в уста, оскверняет человека,[217] но аппетит, с каким поглощается пища. Дело не в качестве и не в количестве, а в смаковании пищи, когда человек ест не ради поддержания своей физической и духовной жизни, а только питает червей, которым мы достанемся. Если охотник любит черепах, ондатр и иные дикие лакомства, то знатная леди любит заливное из телячьих ножек или заморские сардины — одно другого стоит. Он ходит за ними на пруд, она — в кладовую. Удивительно, как они могут — и как мы с вами можем — жить этой мерзкой, животной жизнью, жить ради того, чтобы есть и пить.

Нравственное начало пронизывает всю нашу жизнь. Между добродетелью и пороком не бывает даже самого краткого перемирия. Добро — вот единственный надежный вклад. В музыке незримой арфы, поющей над миром, нас восхищает именно эта настойчиво звучащая нота. Арфа убеждает нас страховаться в Страховом обществе Вселенной, а все взносы, какие с нас требуются, это наши маленькие добродетели. Пусть юноша с годами становится равнодушен; всемирные законы не равнодушны; они неизменно на стороне тех, кто чувствует наиболее тонко. Слушай же упрек, ясно различимый в каждом дуновении ветерка; горе тому, кто не способен его услышать. Стоит только тронуть струну или изменить лад — и гармоническая мораль поражает наш слух. Немало назойливого шума на отдалении становится музыкой, великолепной сатирой на нашу жалкую жизнь.

Мы ощущаем в себе животное, которое тем сильнее, чем крепче спит наша духовная природа. Это — чувственное пресмыкающееся, и его, по-видимому, нельзя всецело изгнать, как и тех червей, которые водятся даже в здоровом человеческом теле. Мы, вероятно, можем держать его на отдалении, но не в силах изменить его природу. Я боюсь, что он живуч и по-своему здоров; и мы, значит, можем быть здоровы, но не чисты. Недавно я нашел нижнюю челюсть кабана с крепкими белыми зубами и клыками, говорившими о животной силе и мощи, независимой от духовного начала. Это создание преуспело в жизни любыми путями, только не воздержанием и чистотой. «Отличие человека от животного, — говорит Мэнций,[218] — весьма незначительно; люди заурядные скоро его утрачивают, люди высшей породы тщательно его сохраняют». Кто знает, как изменилась бы жизнь, если бы мы достигли чистоты? Если бы я знал человека, который мог бы научить меня этой чистой жизни, я тотчас же отправился бы к нему. Власть над страстями, над органами чувств и над добрыми делами Веды считают необходимой для того, чтобы наш дух мог приблизиться к богу. Однако дух способен на время побеждать и подчинять себе все органы и все функции тела и претворять самую грубую чувственность в чистое чувство любви и преданности. Половая энергия оскверняет и расслабляет нас, когда мы ведем распутную жизнь, но при воздержании является источником силы и вдохновения. Целомудрие есть высшее цветение человека и то, что зовется Гениальностью, Героизмом. Святостью, — все это является его плодами. Путями целомудрия человек тотчас устремляется к богу. Мы то возвышаемся,

благодаря целомудрию, то падаем, поддавшись чувственности. Блажен человек, уверенный, что в нем изо дня в день слабеет животное начало и воцаряется божественное. Но нет, должно быть, никого без постыдной примеси низменного и животного. Боюсь, что мы являемся богами и полубогами лишь наподобие фавнов и сатиров, в которых божество сочеталось со зверем; что мы — рабы своих appetitов и что сама жизнь наша в известном смысле оскверняет нас:

*Стократ блажен, кто покори́л зверей
И ди́кие леса срубил в душе своей.*

*Кто обуздал коня, и волка, и козла,
Не обратившись сам при том в осла.
Иначе в нем живет свиное стадо скверны
И даже нечто худшее безмерно —
Те бесы, что вселились в свиней[219].*

Чувственность едина, хоть и имеет много форм; и чистота тоже едина. Неважно, что́ делает человек — ест, пьет, совокупляется или наслаждается сном. Все это — аппетиты, и достаточно увидеть человека за одним из этих занятий, чтобы узнать, насколько он чувствен. Кто нечист, тот ничего не делает чисто. Если ловить гадину с одного конца ее норы, она высунется из другого. Если хочешь быть целомудренным, будь воздержан в еде. Что же такое целомудрие? Как человеку узнать, целомудрен ли он? Этому ему знать не дано. Мы слышали о такой добродетели, но не знаем, в чем ее суть. Мы судим о ней понаслышке. Труд рождает мудрость и чистоту; леность рождает невежество и чувственность. У ученого чувственность выражается в умственной лени. Человек нечистый — это всегда ленивец, любитель посидеть у печи, развалиться на солнышке, отдохнуть, не успевши устать. Чтобы достичь чистоты и отдалиться от греха, работай без усталости любую работу, хотя бы то была чистка конюшни. Победить природу трудно, но победить ее необходимо. Какой прок в том, что ты христианин, если ты не чище язычника, если ты не превосходишь его воздержанием и набожностью? Я знаю многие религии, считающиеся языческими, но их правила устыдили бы читателей и подали бы им пример, хотя бы в отношении выполнения обрядов.

Я с трудом решаюсь это говорить, но не из-за темы — непристойных слов я не опасаюсь, — а потому, что, говоря о них, выдаю свою скверну. Мы свободно и не стыдясь говорим об одной форме чувственности, но умалчиваем о другой. Мы так развращены, что не можем просто говорить о необходимых отправлениях тела. А в древние времена были страны, где каждая такая функция уважалась и регулировалась законом. Ничто не казалось ничтожным индусскому законодателю,[220] как бы оно ни оскорбляло современный вкус. У него были правила насчет еды, питья, половых сношений, опорожнения кишечника и мочевого пузыря и прочего; он возвышал низменное и не пытался лицемерно оправдываться, называя эти вещи пустяками.

Каждый из нас является строителем храма, имя которому — тело, и каждый по-своему служит в нем своему богу, и никому не дано от этого отделаться и вместо этого обтесывать мрамор. Все мы — скульпторы и художники, а материалом нам служит собственное тело,

кровь и кости. Все благородные помыслы тотчас облагораживают и черты человека, все низкое и чувственное придает им грубость.

Однажды сентябрьским вечером Джон Фермер уселся на пороге после тяжелого трудового дня, и мысли его все еще были заняты этим дневным трудом. Умывшись, он сел, чтобы дать отдых также и душе. Вечер был прохладный, и соседи опасались заморозков. Он недолго просидел так, когда услышал звуки флейты, и звуки эти удивительно гармонировали с его настроением. Он все еще думал о своей работе и невольно что-то в ней обдумывал и подсчитывал, но главным образом в его мыслях было другое: он понял, как мало эта работа его касается. Это была не более, чем верхняя кожица, которая непрестанно шелушится и отпадает. А вот звуки флейты доносились к нему из иного мира, чем тот, где он трудился, и будили в нем какие-то дремлющие способности. Они тихо отстраняли от него и улицу, и штат, где он жил. Некий голос говорил ему: зачем ты живешь здесь убогой и бестолковой жизнью, когда перед тобой открыты великолепные возможности? Те же звезды сияют и над другими полями. Но как уйти от своей жизни, как переселиться туда? И он сумел придумать только одно: жить еще строже и воздержнее, снизить духом до тела и очистить его и преисполниться к себе уважения.

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 22:12:44

Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:13:48